



Аркадий Александрович Вайнер
Георгий Александрович Вайнер
**Без компромиссов: Гонки по
вертикали. Я, следователь... (сборник)**

Текст предоставлен правообладателем.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6893583

*Вайнер, А.А. Вайнер Г.А Без компромиссов: Гонки по вертикали. Я, следователь... : [романы]: АСТ;
Москва; 2014*

ISBN 978-5-17-084052-6

Аннотация

Золотой фонд отечественного детектива! Вот уже несколько поколений читателей и телезрителей увлеченно следят за расследованиями инспектора Стаса Тихонова, советского комиссара Мегрэ. Каждое его дело — не только захватывающий сюжет, психологическая схватка преступника и следователя, но документ эпохи, написанный блестяще и тонко.

«Гонки по вертикали». История противостояния гениального преступника и следователя, раскручивающего запутанный клубок наслаивающихся друг на друга загадочных преступлений, по-прежнему неподвластна времени. И, как много лет назад, читатель снова невольно втянут в дуэль разумов и интуиций, в смертельно опасные «Гонки по вертикали»!

«Я, следователь...». На шоссе Ялта-Карадаг обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением головы. В бесперспективном деле одни вопросы: кого и почему убили? Кто убил?.. Опираясь лишь на отрывочные сведения, сыщик Стас Тихонов идет за преступником — как охотник по следу зверя, опаздывая лишь на три, два, один шаг. Кто выстрелит первым в следующий раз?

Содержание

Аркадий и Георгий Вайнеры	5
Книга 1	5
Глава 1	5
Глава 2	8
Глава 3	10
Глава 4	17
Глава 5	21
Глава 6	29
Глава 7	32
Глава 8	40
Глава 9	46
Глава 10	51
Глава 11	55
Глава 12	62
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер Без компромиссов: Гонки по вертикали. Я, следовательно... (сборник)

Охраняется законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

© Вайнер А.А., Вайнер Г.А.

© ООО «Издательство АСТ»

Аркадий и Георгий Вайнеры

Гонки по вертикали

Книга 1

Глава 1

Инспектор Станислав Тихонов

...Алексей Дедушкин грустно смотрел на меня бархатными черными глазами, и я видел, как под тонкими перепонками век у него накапливают слезы.

— Мне стыдно за вас... — сказал он своим глубоким мягким баритоном.

Вот так. Ему было стыдно за нас. Или, может быть, только за меня, а за Сашку Савельева не очень? Нет, скорее всего — за нас обоих, потому что беседовали мы втроем и Сашке он был обязан нашей встречей даже больше, чем мне. И хотя мне тоже было стыдно за свое поведение, а уж про Сашку-то и говорить нечего, я спросил Дедушкина:

— Все-таки расскажи мне, Дедушкин, за что же тебя наградили этим орденом.

Дедушкин достал из кармана белый платок, промокнул быстрым движением глаза и негромко, интеллигентно высморкался. Платок отвел от лица, развернул за уголки и внимательно посмотрел в него, как фокусник во время представления. Но, к моему удивлению, из платка не вылетел голубь и не полезли бумажные цветы. Он просто снова сложил платок и спрятал его в карман.

— Извините меня, но предмет разговора мне пока неясен. Впрочем, я попытаюсь удовлетворить ваше любопытство и...

И начал в пятый раз излагать какую-то фантастическую историю о болгарском друге, с которым он познакомился несколько лет назад в Крыму. Однажды купались в штормовую погоду, и болгарин стал тонуть. И вот тогда, мол, Дедушкин, рискуя жизнью, вынес его из пенных волн. Немного очухавшись, спасенный снял с пиджака орден, которым его наградили во время войны за героизм, и подарил его своему спасителю.

— ...И уж, простите меня, храню его как память, — закончил он свое прочувствованное выступление.

Почти в каждое предложение Дедушкин вставлял «прошу прощения», «уж извините», но его полный сдержанных модуляций голос дрожал от обиды, и если ты еще не совсем скотина, то должен был бы понять, что извиняться, конечно, надо тебе самому. И у Сашки Савельева был вид человека, уже осознавшего себя прохвостом и примирившегося с этим навек. Поэтому он робко спросил Дедушкина:

— А что, старый был болгарин?

Дедушкин высокомерно усмехнулся:

— Почему же это «был»? Он еще довольно молодой человек...

Изобличенный в невежестве, Сашка совсем сник и горестно закачал головой:

— Ай-ай-ай! Вот ведь беда какая! Теперь все совсем запуталось...

— Простите, я не пойму — почему? — с достоинством спросил Дедушкин.

Сашка быстро взглянул на меня, усмехнулся:

— Да по нашим расчетам получается, что вашему болгарскому другу, гражданин Дедушкин, должно быть сейчас лет эдак сто...

— Простите меня, но я не совсем...

Я взял со стола золотой крест с бриллиантами на муаровой ленточке и показал Дедушкину:

— Это очень старый орден. Вот здесь, на обратной стороне, написано...

Дедушкин взглянул мне в глаза, и океан скорби и стыда за все человечество затопил меня. Теперь Дедушкин стыдился не только за нас с Сашкой, но и за своего неведомого нам болгарского друга:

— Значит, он обманул меня...

— Ага, — сказал радостно Сашка. — Я-то все волновался, что вы нам не говорите правды, а оказалось, что наврал этот прохвост. Слава Богу! Теперь надо узнать, как к вам попал этот импортный чемодан, набитый заграничными вещами, и маленькое недоразумение между нами будет улажено.

— А он, наверное, спас иностранца во время авиационной катастрофы, — невинно предположил я и повернулся к Дедушкину: — И за это иностранец наградил тебя своим чемоданом. Нет?..

Дедушкин достал из кармана свой замечательный батистовый платок и проделал с ним полный цикл фокуснических манипуляций. Потом грустно сказал мне или нам обоим:

— Вы дурно воспитаны...

Леха Дедушкин по кличке Батон, опытный вор-майданник — специалист по кражам на вокзалах и в поездах, был моим старым знакомым. И, услышав это скорбно-интеллигентное «вы дурно воспитаны», я просто захохотал, поскольку с этих слов началось наше с ним знакомство восемь лет назад. Тогда он совершил непростительную для профессионала ошибку — оставил у себя редкой красоты краденые часы. Он носил их в верхнем кармане пиджака на платиновой цепочке, закрепленной какой-то изящной запонкой в петлице на лацкане. По этой-то цепочке я его и высмотрел, довольно бесцеремонно извлек ее вместе с часами из кармана, и часы повисли на лацкане, как военная медаль. Тогда-то он мне и сказал: «Вы дурно воспитаны». И весь он — седеющий, очень элегантный, с часами-медалью на груди — источал такую скорбь по поводу моей невоспитанности, что я растерялся и с развязностью пристыженного мальчишки сказал ему, чтобы он лучше о себе подумал, что воровать в его возрасте стыдно, и что... и что... В общем, доставляя Батона в дежурную часть, я поведал ему массу всяких пламенных глупостей, а он слушал меня не перебивая. Потом сказал с усмешкой:

— Да-а, пижонство вора погубило... — И с неожиданной злобой добавил: — Ненавижу я вас, сопляков из уголовки. Работать вы еще не умеете, но усердия на десятерых. Ты бы взглянул на себя, у тебя от возбуждения сейчас температура. Под сорок... Щенок.

Дело прошлое, но сейчас-то я могу честно сказать, что еще много лет не мог забыть и простить Батону «сопляка», которым он меня наградил при знакомстве. Я даже заранее придумал несколько остроумных и ехидных шуток, которые скажу ему, если доведется когда-нибудь его снова задержать. Но жизнь мало заботится об удовлетворении нашего тщеславия. Медленно, но неустанно трясет она нас в своем жестком сите, и постепенно опадает всякая труха, забываются глупости и мелочи, исчезают вздорные иллюзии, пока не останется одно лишь человеческое ядро. Правда, мне доводилось видеть, как человек целиком превращается в шелуху, или, может быть, и не было у него своего ядра, только посмотришь на такого — и с ужасом обнаруживаешь, что рядом с тобой человек целиком ушел в отходы. Да, но я не об этом. Я к тому, что много лет мне понадобилось, чтобы понять: ничего, во-первых, нет радостного в том, что я снова поймал Батона. Во-вторых, никаких слов мне не надо, чтобы доказывать ему свое нравственное и физическое превосходство, поскольку он проиграл свою партию еще до свистка. Ведь дело не в том даже, кто из нас умнее, наблюдательнее или кто быстрее бежит, а в самом характере наших взаимоотношений: я всегда пресле-

дую его, я всегда в атаке. Батон всегда должен скрываться, всегда бежать. Ну и, в-третьих, я только сейчас сообразил, что Батон был прав, назвав меня тогда щенком.

И неожиданно мне стало жаль этих своих безвозвратно ушедших лет, того душного вечера на товарном дворе Киевского вокзала, где остро пахло свежими сосновыми досками, угольной гарью, вишнями, и все всплыло в моей памяти, будто я просматривал ролик цветной киноленты, на которой было не только изображение, но и звуки, и запахи, и все мои волнения. Я видел нас обоих, будто не было восьми лет и мы все еще стоим во дворе Киевского вокзала: спокойный и прекрасно одетый Батон с часами-медалью на груди и я — злой, тощий, с модненькой в то время прической ежиком и торчащими рубиновыми ушами, в скверном, все время мнущемся, несмотря на мои ухищрения, польском костюмчике, старающийся выглядеть уверенным и спокойным и от этого еще более взволнованный и неловкий. Я помню даже тополиные пушинки, которые Батон сбил с рукава точным и легким шелчком, и его злобно-презрительное «щенок». Но в тот момент я еще не мог вспомнить слов, что сразу всплыли в памяти сейчас, через восемь лет, и которые он произнес за несколько минут до «щенка». Он сказал тогда: «Вы дурно воспитаны». И, услышав сейчас эти слова, я почувствовал себя полностью отмщенным за того давнего «сопляка» и «щенка».

— Да, не сильно ты за это время вырос, Батон, — сказал я весело. — За восемь-то лет мог придумать что-нибудь поновее.

Батон, не глядя на меня, ответил с большим достоинством:

— Последние восемь лет я был занят обдумыванием своего тяжелого прошлого и пришел к твердому решению жить по закону. А ваши выходки, гражданин Тихонов, оскорбляют мое человеческое достоинство и, надеюсь, станут предметом принципиального разговора у руководства московской милиции.

Ага, даже по фамилии помнит. Я сказал:

— Что и говорить, Батон, ты типичный «человек с трудной судьбой». Но не обольщайся, полагая, что каждая кража чемодана становится предметом обсуждения у руководства.

— Я ваших порядков не знаю, но ни к какой краже отношения не имею.

— Это ясно, — кивнул я. — Правда, я не понимаю, зачем тебе эта комедия. Через час в сводку попадет заявление гражданина, у которого ты украл этот чемодан, и твоя очередная легенда получит естественное завершение.

Батон пожал плечами, показывая, что все мои домыслы не имеют к нему никакого отношения. Если бы это происходило не сейчас, а восемь лет назад, я бы, наверное, испытал немалое злорадство, представляя, как с минуты на минуту явится потерпевший и расскажет, при каких обстоятельствах Батон увел у него чемодан. Но сейчас я не испытывал никакого злорадства, потому что прошло восемь лет и я уже не был «щенком» и хорошо знал, что Батон при опознании, и на следствии, и в суде будет выступать оскорбленным праведником, так и уйдет в тюрьму. И никакого удовольствия от того, что Батон не считает меня больше сопляком, я тоже не испытывал.

— Что еще есть в вашем чемодане? — спросил Савельев, и я от неожиданности вздрогнул, потому что он так долго сидел молча, а я так погрузился в свои воспоминания, что совсем забыл о нем. Сашка держал с руках дорогой японский фотоаппарат марки «Никон».

— Да всякая чепуха. — Батон посмотрел на Савельева, потом внимательный взгляд его оцупал роскошную камеру. Немного помолчав, он небрежно махнул рукой. — Фотоаппарат, например...

Я сказал Сашке назидательно:

— Учитесь, товарищ капитан. Вот прекрасный образец бессребреничества и душевной широты: гражданин Дедушкин считает чепухой аппарат, который стоит больше, чем он заработал за всю свою долгую трудовую жизнь.

Но Батона такими пустяками не выведешь из равновесия. Он четко гнул раз и навсегда выбранную линию. Он смотрел на меня своими грустными умными глазами, точно такими, как на старых иконах или у актера Михаила Козакова, и говорил снисходительно-вежливо:

— Ну зачем же вы со мной так, гражданин Тихонов? Помимо того, что вы еще ничего не доказали насчет этого чемоданчика, вы хоть с возрастом моим считайтесь — я ведь почти вдвое вас старше.

Ах молодец, ах нахал! Ведь прекрасно знает, что я сам раскапывал его «биографию» и доказал тогда, что ему на пятнадцать лет меньше, чем он приписывает себе, и в этом году ему исполнится только сорок четыре года, но все равно прет как танк. Ладно, мы ведь не на товарном дворе Киевского вокзала, и я, к сожалению, уже не щенок.

— Вдвое, значит?

— Вдвое. Почти вдвое, — ласково кивнул Батон.

— А я, значит, дурно воспитан и поэтому неуважительно разговариваю с тобой?

— Точно, — подтвердил Батон. — А я разговариваю с вами уважительно. Между прочим, на вы. Так что сначала насчет чемодана докажете.

— Докажем, Дедушкин, докажем. Ты об этом не беспокойся, — беспечно улыбнулся я.

Но было мне в этот момент не особенно весело, и в глубине души нарастало беспокойство, оттого что не поступает никаких сигналов от потерпевшего, а без хозяина чемодана мы ровным счетом ничего не сможем доказать. И тогда надо будет Батона отпустить, предварительно извинившись. И пока я вел все эти для меня изнурительные непринужденные разговоры с Батоном, не покидало меня предчувствие, что здесь не все ладно, и я с нетерпением ждал известий о хозяине чемодана. Мне еще было невдомек, что владелец чемодана заявить о пропаже не может.

Сонный милиционер сказал Батону:

— Ну, пошли, что ли?

Тот встал, чинно поклонился нам, плащ перекинул на руку и гордо понес к дверям красивую седеющую голову. Глядя на Батона, я думал, что все его коренастое, крепкое туловище — только приспособление для ношения головы, значительной, крупной, вознесенной вверх, как у деревянной статуи на носу парусного фрегата. Милиционер посторонился в дверях, пропуская его, и Батон снисходительно кивнул. Посторонний человек, наблюдая за ними, наверняка решил бы, что это ненароком заглянул сюда какой-то министр и сейчас в сопровождении милиционера обходит наши скромные апартаменты: «Рассказывайте, товарищи, какие у вас нужды?»...

Глава 2

Вор Леха Дедушкин по кличке Батон

Доброе начало полдела откачало. Это мой папаша так сказал бы. Или что-нибудь в этом роде. У него на каждый случай полно таких дурацких поговорок. А начало получилось действительно знаменитое. Как он углядел меня, мент проклятый! Вот уж если не повезет, то никакой расчет против случая не тянет. Мне как-то на этапе Демка Фармазон рассказывал, что довелось ему удачно обобрать химчистку: сложил два здоровых тюка отборных вещичек и выкинул со второго этажа во двор. А там в затишке постовой милиционер обнимался с дворничихой — вот прямо на них тюки и упали. Спустился Демка, так они его не только повязали, еще и по шее как следует наkostenяли за порушенный уют.

Но конечно, противнее всего, что подвязался к этой истории Тихонов. С ним я дерьма накушаюсь. Это как пить дать. Вредный он, зараза, и наверняка на зло память долгую держит. Окажись под рукой мой дед, он бы мне сказал: «С людьми надо уметь строить отноше-

ния». Н-да, хорошо ему было строить отношения, когда он в Коммерческом клубе по вечерам играл в карты с ростовским полицмейстером Свенцицким. И когда полковник Свенцицкий лез под стол за упавшим полтинником, мой дорогой дед светил ему зажженной сторублевкой — «катенькой». Думаю, что Тихонов со мной не сядет играть в карты. Да и я нашел бы сторублевке лучшее применение.

Так что, попался? Неужели сгорел Леха Дедушкин? Эх, Тихонов, миляга мой расчудесный, если бы ты только знал, как мне неохота лезть в кичу по-новому! Это ведь только ты думаешь, что мне сорок четыре годика. А на самом-то деле мне еле тридцать семь отстучало. Ты хоть и вострый паренек, но замотал я тебя в прошлый раз, да и масть моя сбила тебя с толку. Знаменитая у меня масть — седина бобровая, серебряный волос из меня со школьной поры прет. Мне бы с такой благородной окраской фармазонить — фраерам «куклы» продавать, а я вот по глупости в майданники подался. Как говорила мадам Фройдиш, что держала хазу в Марьиной Роще, в 5-м проезде: «Если человек дурак, то это надолго».

Конечно, виноват во всем охломон, который придумал поговорочку «Ученье — свет, а неученье — тьма», потому что у меня как раз все неприятности от ученья. Вот те несчастные без малого десять лет, что я отсидел в школе, и определили тайный ход карт моей жизни. Я почувствовал огромный избыток образованности — она меня переполняла, она меня просто душила, полсвета я мог бы обучить из несметных моих знаний. И даже если бы меня не вышибли из школы за то, что я спер и продал на Тишинке пальто нашего химика, я бы все равно, наверное, уже не мог учиться — я и так все знал.

Почему-то я часто вспоминаю этого химика. Он уже умер наверняка, ему и тогда было за шестьдесят. Но его я вспоминаю чаще многих живых. Он странный человек был. Однажды, поспорив с Васькой Мухановым на два бутерброда, я встал на уроке и сказал: «Петр Иванович, извините, пожалуйста, но мне кажется, что вы дурак». Дело давнее — почитай, лет двадцать с гаком укатило, но я и сейчас помню ту ужасную тишину, просто немоту какую-то, залившую класс. Замерли все неподвижно, будто грянул гром и все окаменели. А Васька Муханов побелел так, словно я ткнул его рожей в гипс, он ведь до последнего момента не верил, что я скажу. Мне и самому не хотелось говорить, но мы уже поспорили, не отдавать же ему бутерброды. Я и сказал. Тихо было в классе, только с Цветного бульвара раздавался трамвайный звон и сипло дышали проржавевшие трубы отопления. Я поднял глаза на учителя — он тоже тихо стоял, длинный, очень худой, в синей гимнастерке, штопанной, старой, обсыпанной мелом и табачным пеплом. Стоял он, заложив руки за широкий сержантский пояс, и прищурясь смотрел на меня одним глазом — одним, потому что на втором было большое серое бельмо.

Он, наверное, долго молчал, мне-то уж, во всяком случае, показалось — целую вечность, а потом не спеша и негромко сказал:

— Может быть. Может быть, с твоей точки зрения, я и дурак. — Помолчал и спросил, будто советовался со мной: — Только как же мне учить-то тебя дальше?

Не знаю, если бы он мне дал по рылу, или вышвырнул из класса, или послал бы к страшному директору школы Шкловскому — в общем, принял бы какую-то необходимую по их учительской науке меру, то, может быть, все в моей жизни пошло бы по-другому. Но он не принял мер. Или, может быть, это была неприменимая ко мне мера — он хотел подействовать на меня добром, а я этого смерть как не люблю, но, во всяком случае, он сказал только:

— Ты сядь, Алексей. Такие вещи не обязательно говорить стоя.

Вот ей-богу, я и сейчас не могу понять, почему я себя повел тогда таким макаром. Я просто озверел. Ну простил старик, садись, утри сопли и помалкивай в тряпочку. Побил он козырным тузом твою мусорную семерку — сиди и не рыпайся. Так нет же — битого валета из рукава потянул. Убежал со следующего урока, взял в раздевалке пальто химика и отнес на Тишинку. Черное пальто было, с истертым бархатным воротничком, из драпа с пылью

пополам. Там меня и загребли. Доставили в 5-е отделение, сидел я в «аквариуме» вместе с какими-то пьянчугами, бабами-мешочницами, одним карманником и бритым чучмеком поперек себя шире.

Потом я увидел через решетчатую дверь, как в дежурку в клубах пара с мороза ввалился химик Петр Иванович, замотанный шарфом, в женской кацавейке поверх синей гимнастерки. Я видел его бураковые, набрякшие уши и как он судорожно растирал занемевшие от холода руки, и все во мне переворачивалось от жалости к нему и ненависти на весь мир. И слушал его тихий бубнящий голос, бившийся о деревянный барьер дежурки, как в стены бочки, и, наверное, именно тогда я в первый раз подумал, что все мы живем в бочке, громадной бочке, которая нам и земля, и небо, и весь наш размах и полет, и все наши удачи и унижения, все ограничено покатыми вонючими стенками невидимой глазу бочки, которая и сама-то не твердь, а так, кусок дерьма, мчащийся на волнах мироздания.

Химик бормотал: «Нервный мальчик... это эксцесс... педагоги должны в первую очередь отвечать...»

И тогда я с разбегу бросился на решетку двери, искровенив махом себе всю рожу, и заорал жутким, рвущимся из живота криком:

— Не верьте!.. А-а-а! Я сам за все отвечу!.. Вы мне все надоели!.. Я украл! Украл! Украл!..

Глава 3

Досуг инспектора Станислава Тихонова

— Крупная сволочь этот твой старый друг Дедушкин, — задумчиво сказал Сашка.

— Да-а? — удивился я. — Не совсем так. Это определение не для него.

— А какое же для него? — насмешливо глянул на меня Сашка.

— Враг. Стал бы я с ним четыре часа разводить тары-бары, если бы он был просто сволочь. Но он нам враг и требует серьезного отношения.

— И что будем делать?

— Если Батон сообразит, что у нас нет потерпевшего, дело швах. Но я и сам не могу понять, почему до сих пор от него не поступило заявление.

Сашка уверенно сказал:

— Ничего страшного. Хозяин за эти четыре часа мог еще и не хватиться чемодана, а сейчас, пожалуй, уже спит. Утром обнаружит пропажу и заявит.

— Да-а? Ты так думаешь? — спросил я с надеждой. — Я тоже хочу так думать...

— И что?

Я лениво потянулся, подавил зевок, сказал:

— Пива хорошо бы попить. С воблой и соленым горохом. «Праздрой» любишь?

— Ничего. Со свежими раками лучше. Так что же с чемоданом?

— А я сам не знаю. Я ведь и не говорил, что у меня есть какие-то предположения.

Просто я не верю в рассеянность этого потерпевшего.

Сашка сердито уставился на меня. Я встал, обнял его за плечи, засмеялся:

— Брось, старикан. Ничего мы сейчас с тобой не придумаем: это задачка по линии математического бреда. А трехмерные упражнения мы с тобой в уме делать не умеем. Так что все равно ничего не получится.

— Да перестань ты выкаблучиваться! — прорвало наконец Сашку. — Надо сесть и подумать, в каком направлении искать.

— Вот именно: в каком направлении искать, — обрадовался я. — Хорошо, что мы с тобой сидим сейчас на Киевском вокзале и точно знаем — поезда отсюда уходят только в

юго-западном направлении СССР, где расположена четверть советских городов и населения. Поэтому остальные три четверти мы можем не проверять.

Сашка сделал протестующий жест, но я успел договорить:

— Это при условии, что ты прав и пассажир еще едет в поезде. А если он, наоборот, приехал в Москву?

— Тогда надо построить несколько рабочих версий и...

— Давай. Тем более что из всех известных мне видов строительства это самый дешевый и неутомительный.

Мне уже самому надоело балаганить, а Сашка не хотел заводиться, и игра потеряла интерес. Конечно, вся эта история не представлялась мне тогда ни сложной, ни интересной. Просто меня удивляло, что не появился пассажир, у которого Батон украл чемодан. А может быть, меня это и не удивляло, и придумал я все это потом, тем более что сильно удивляться или волноваться не было оснований — ведь прошло всего несколько часов после кражи. Но во всяком случае, тогда я отнесся ко всей этой истории довольно спокойно, иначе я бы не стал дожидаться утра. Правда, Сашка Савельев потом доказывал мне, что при всем желании мы бы не могли разыскать потерпевшего в эту ночь, и даже если бы мы его нашли, то только все испортили бы. Честно говоря, я до сих пор не верю, будто самый верный путь к истине обязательно идет через ошибки.

Я уже привык к мысли, что процесс нашего возмужания — это вроде вступления в какое-то труднодоступное общество и, чтобы вступить в этот «Клуб опытных людей», надо много и дорого платить — годами жизни, огромными разочарованиями, иногда болью и кровью. За это получаешь опыт, или, как говорили раньше, житейскую мудрость. Штука необходимая, избавляющая тебя, в частности, от унижительного сознания, что ты щенок. И как только избавился — тут тебе и крышка. Обязательно садишься в лужу, потому что в каких-то вещах мы до смерти остаемся щенками, и, когда уходит от тебя это понимание, ты теряешь готовность к встрече с неожиданностью, которая берет тебя за шиворот и начинает тыкать носом в твою замечательную житейскую мудрость: «Ты же ведь больше не щенок? Ты же член клуба взрослых, опытных людей? Давай, давай, реши-ка мои задачки!» Короче, я допустил ошибку. Или мы с Сашкой ее допустили. Но виноват в ней больше был я, потому что я был опытнее, потому что я был меньше щенок. И много, очень много дней и ночей я исправлял свою ошибку, чтобы, поняв и исправив ее, решить свою проблему в целом и этим заплатить за гордое сознание, что я уже не щенок.

Я сказал Сашке:

— Хорошо, давай подождем до завтра. Если пассажир завтра не объявится...

— Да куда он денется! — резонно возразил Сашка. — Кроме того, завтра можно будет связаться с линейными отделами милиции. Кого ты сейчас, вечером, да еще в субботу, найдешь там?

— Завтра, между прочим, тоже нерабочий день — воскресенье, — напомнил я.

— Но ведь это будет день. День, понимаешь? Дежурные там и в воскресенье есть наверняка! А сейчас ночь на дворе!

— Ладно, все равно мы с тобой за день сильно устали, ничего путного не придумаем. Оставь дежурному домашний телефон на случай, если новости будут, и пойдем спать.

На том и порешили.

Мы вышли из метро на Комсомольской. Площадь была залита пронзительным дымным светом ртутных фонарей, который, перемешиваясь с нервным мерцанием неоновых реклам, вспышками автомобильных огней, поднимался над городом как извержение. Моросил холодный апрельский дождь, и мостовые тускло отсвечивали нефтяным блеском, а изо рта шел пар, который подолгу не хотел таять, и люди были похожи на рисунки в комиксах, когда разговор изображают такими исписанными клубочками пара, срывающимися с губ.

И если бы мы с Сашкой написали слова на этих маленьких облачках, то все смогли бы прочитать, о чем мы с ним думаем. И хотя большинство людей в принципе не прочь узнать, о чем думают остальные, как раз на этой площади им меньше всего до этого дело. Эта площадь похожа на огромное сердце, которое мощно и ритмично выпускает и принимает через три вокзала бесчисленное число пассажиров, заполняющих ее до предела. Я иногда с испугом думаю о том, как было бы страшно, если бы случилось что-то фантастическое, и все пассажиры уехали бы, и больше поезда не пришли бы к платформам, и вся эта суэта утихла, исчезло веселое напряжение перед дорогой, опустели перроны, залы ожидания и переходы, и, хотя я понимаю, что это чушь, чепуха, остаток какого-то вздорного сна, я все равно пугаюсь, потому что пустой вокзал и заколоченный дом для меня всегда были символами смерти.

Из дверей метро слышался ровный утробный гул и толчками выходил теплый плотный воздух, пахнувший горячей резиной, и даже здесь был осязаемый запах весны, который преследовал меня сегодня с утра и совсем исчез в прокуренном помещении милиции. Пахло землей, прошлогодней травой, тающим снегом, хвоей...

— Пошли ко мне? — предложил Сашка. — Поужинаем вместе, потрелемся, а захочешь — останешься ночевать.

Я покачал головой:

— Спасибо, не могу. У меня еще сегодня свидание. Вернее, визит в гости.

— Куда ты в одиннадцать часов поедешь? Знаю я твои визиты, — засмеялся Сашка. — Плюнь, завтра поедешь.

— Не могу, — упирался я, — тем более что мне не ехать, а идти. Тут рядом, пять минут. Я точно обещал.

Я смотрел Сашке вслед, на его прямую, твердую спину в узеньком коротком пальто — крепкий, спортивный мальчишка, — и испытывал чувство обиды и досады, как ребенок, дважды отказавшийся за столом от любимого блюда, а теперь блюдо уже унесли на кухню и нельзя сказать: «Я передумал, дайте мне тоже кусочек» — потому что предлагали-то от всего сердца и никому не объяснишь, из-за чего находит на тебя застенчивое упрямство, заставляющее говорить и делать глупости. Хотя в глубине души я и сам понимал, что от того блюда, которого мне сейчас больше всего хотелось, которое мне так было нужно, не отрежешь кусочка на долю гостя.

А хотелось мне немного, всего капельку обычного обывательского покоя. Того самого, которого принято стыдиться, который презрительно называют «мещанским уютом», которого благополучные люди никогда не прощают житейским нескладухам. Того покоя, семейного счастья, что приходит вместе с жизненным становлением, незаметно сопутствует успехам, окружает удобной мебелью в своей квартире, предлагает вкусный ужин вместо докторской колбасы и еще позволяет иметь тапочки. Есть такие тапочки, мягкие, войлочные, цена четыре рубля, которые стоят под вешалкой и являются для меня символом жизненного спокойствия, благополучия и уверенности.

В общем, когда тебе тридцать лет и у тебя масса нерешенных жизненных и бытовых проблем, весна вызывает болезненно-острое чувство грусти и активное отвращение к своей запущенной холостяцкой комнате в многолюдной коммунальной квартире.

Короче говоря, в этот весенний прохладный вечер или ночь, уж не знаю, как правильнее надо считать одиннадцать часов, охватило меня томительное чувство неприкаянности, пустоты и абсолютной ненужности никому на свете; и, пока я шагал через площадь, раздумывая, где бы поужинать, мне становилось все досаднее, что я отказался от Сашкиного предложения, и в душе росло какое-то несправедливое ожесточение против ничего не подозревающих людей, сумевших устроить свою жизнь бесхлопотно и красиво. Я понимал несправедливость своего гнева и вздорность своих глупых претензий и от этого злился больше всего на себя самого.

По путепроводу Окружной железной дороги, мягко погромыхивая, катился поезд Ленинград—Сухуми. В окнах, освещенных абажурчиками настольных ламп, были видны пассажиры в пижамах, папильотках, и все эти желтые, розовые и голубые купе отсюда, с мокрого тротуара, виделись прекрасными микромирами уюта, благополучия и душевного спокойствия. Я поднял воротник плаща и пошел к подъезду гостиницы «Ленинградская».

Народу в ресторане было не много, и я уселся у окна, рядом с огромной, просто ужасающей своими размерами вазой, вознесенной на подоконник, по-видимому, подъемным краном. Официанта не было, и я пока занялся разглядыванием посетителей. Молодые люди ласково журчали с девушками о чем-то неповторимом, уныло разжевывали свои шницели командированные, веселилась на всю катушку компания иностранцев, судя по красным затылкам и огромному количеству пива — немцев. Они так дружно чокались и с таким аппетитом ели жареное мясо, что у меня начались голодные спазмы.

Пришел официант. Быстро записал заказ и спросил:

— Что пить будем?

В глазах у него была твердая решимость, как у опытных медсестер, которые уже привыкли к постоянным отказам больных пить совершенно необходимый для них рыбий жир, и сколько бы они сейчас ни откручивались, на этот раз номер не пройдет — выпьют как миленькие! Я понял, что и мне не миновать сегодня этой чаши в прямом смысле, и сказал трусливо: «Да коньячка граммчиков сто пятьдесят, пожалуйста», — хотя пить совсем не хотелось.

Я смотрел на иностранцев и раздумывал, почему же не появился с заявлением о пропаже владелец чемодана. Интересно было бы знать, что он делает сейчас. Едет куда-то из Москвы в поезде. Или, наоборот, приехал и, может быть, даже живет в этой гостинице: и сидит пьет себе пиво вместе с этой компанией. Только вряд ли. Если бы он приехал, то уже обязательно хватился чемодана. Жалко, что Сашка задержал Батона перед вечером — даже позвонить было некуда... Очень есть хочется. Я неожиданно подумал, что Батон тоже голодный — его доставили в камеру предварительного заключения уже после раздачи ужина, — и почувствовал от этого какое-то дурацкое злорадство. Нечего было воровать, а надо было заниматься каким-нибудь тихим почтенным трудом, иметь семью и диетическое питание — у него от бурно прожитой жизни наверняка больные печень и желудок. Вот если бы Батон был не вором, а приличным человеком, то у него — я это точно знаю — под вешалкой обязательно стояли бы войлочные тапки за четыре рубля. Но у Батона нет тапок, потому что он вор и ему надо все время ездить, бегать, скрываться, и тапки для такого дела совсем неподходящая обувь. А вот почему, интересно знать, у меня нет войлочных тапок?.. Я, наверное, еще долго размышлял бы над всей этой ерундой, но официант принес еду. Он меня явно не уважал и не старался скрыть это — воспитанный человек не станет в двенадцатом часу есть борщ. Но, во-первых, я вообще люблю борщ, а во-вторых, я точно знаю, что человек за обедом должен есть одно горячее жидкое блюдо. Это я прочитал в замечательном журнале «Здоровье», где в разделе «Полезные советы» есть масса подобных откровений. Поэтому я решил съесть свой борщ во что бы то ни стало. И кроме того, я не виноват, что мой обед так запоздал. Но поскольку я верю в судьбу, то считаю, что не только у людей — у вещей тоже есть своя судьба. Так вот, если можно борщ считать вещью, то у него была судьба остаться несъеденным. Кто-то негромко сказал:

— Стас... А, Стас?..

Не оборачиваясь, я уже знал, кто это стоит у меня за спиной и ласково смотрит мне в затылок, и борщ стал горьким, а может, кислым или сладким, не знаю, не помню, просто он исчез, я забыл о нем вместе со всеми прекрасными советами из журнала «Здоровье», как забыл про некормленного Батона и неведомого мне владельца чемодана и о том, что мне сильно не хватает в жизни войлочных тапок за четыре рубля, потому что этот хрипловатый

низкий голос и ласково-неуверенное «А, Стас?» могли принадлежать только одному человеку на свете. Человеку, с которым мне совсем и никогда не нужны уют и обывательское спокойствие и не нужна квартира с мягким диваном, под которым стояли бы войлочные тапки, потому что, когда мы вместе, мне просто некогда думать обо всех этих глупостях, потому что до сих пор это единственный человек на всей земле, с которым я хотел быть всегда вместе, и ни годы, ни боль, ни множество других встреченных мной людей ничего не могут изменить и исправить. Так уж получилось, и, видно, ничего и никогда тут не изменить.

Не оборачиваясь, я кивнул, проглотил ложку безвкусного, как горячая дистиллированная вода, борща и сказал негромко и бесцветно:

— Конечно, я. Кто же еще. Садись...

И даже не удивился исключительной глупости своего ответа — будто мы каждую ночь обязательно встречаемся в ресторане гостиницы «Ленинградская» и последний раз виделись как раз вчера. Нет, не удивился — эта женщина обладала редкой способностью заставлять меня вести себя так, как я никогда и ни с кем себя не веду. Она села на стул боком, положив удобно ногу на ногу, и со своим обычным ласковым и чуть плутоватым выражением заглянула мне в лицо:

— Ты устал? Или расстроен? А, Стас?

Я отодвинул тарелку с опостылевшим мне борщом и, не глядя на нее, сказал:

— Нет. Я очень люблю по ночам есть борщ. Обычно это занятие поглощает меня полностью.

Она положила мне на руку свою ладонь, и я подумал, что в жизни я могу подготовиться к встрече с тысячью Батонов, но вот есть же человек, живущий от меня в двадцати минутах езды, с ним в любой момент можно созвониться по телефону, и раза два в год мы видимся, и перед которым я всегда щенок, никогда не готовый к встрече. Потому что, когда она кладет свою ладонь мне на руку, меня охватывает какое-то сладкое сумасшествие и я забываю, что сто раз давал себе клятву презирать ее, ненавидеть, не уважать, не любить, не помнить, и мне хочется бесконечно продлить это мгновение, когда она сидит рядом со мной, ласково улыбается и держит меня за руку.

Я осторожно высвободил руку из-под ее ладони и понял, что получилось это смешно и некрасиво, и, чтобы как-то скрыть смущение, взял со стола графинчик:

— Тебе коньяку налить?

Она молча кивнула, и, хотя я по-прежнему не смотрел на нее, я понял это, угадав, как всегда угадывал смысл ее молчаливых жестов, точно узнавал ее присутствие у себя за спиной.

— Ты с работы? — спросила она.

— Ну что ты! Сегодня же суббота, я не работаю, — неуклюже соврал я, лихорадочно придумывая, где бы это я мог быть вечером в субботу, откуда ушел в ресторан есть борщ. Дело в том, что мне ужасно не хотелось выглядеть в ее глазах каким-то зачуханным и голодным, ведь каждый голодный человек выглядит немного несчастным. Но придумывать ничего не пришлось, потому что она наклонилась ко мне и быстро провела рукой по боку пиджака, нащупала пистолет в полубоуре на поясе и засмеялась:

— Эх ты, врунишка! Я тебе тысячу раз говорила, что ты не умеешь врать, лучше уж и не учись. А кстати, как же ты на работе-то? Ведь тебе, наверное, надо уметь ловко обманывать своих жуликов?

— Нет, они мне и так верят, — усмехнулся я.

— Но если им говорить всю правду, то ты ведь и не докажешь, что они жулики, — удивилась она.

— Я могу просто не говорить им всю правду, — пожал я плечами, — я ведь могу о чем-то просто не говорить.

Мы чокнулись, и я в первый раз взглянул ей в лицо, и, как всегда во все эти долгие годы, екнуло сердце, потому что если бы я верил в Бога, то подумал бы, что это лицо — крест моих человеческих исканий, вечной неутоленности, приговор пожизненного подчинения человеку, которому все это совсем не нужно. Не виделись мы больше полугода, но она совсем не изменилась, как в общем-то не изменялась за те десять лет, что я знал ее. Может быть, я совсем не способен оценивать ее объективно, но мне кажется, будто и сейчас ей нельзя дать больше двадцати—двадцати двух лет, хотя ей столько же, сколько мне.

— А за что мы будем пить? — спросила она.

— За что хочешь. Это не имеет значения. Вообще все это не имеет значения.

— Нет, имеет. Это вроде знака уважения или ритуала воздаяния небольших почестей. Давай выпьем за тебя.

— Ты же знаешь, я не люблю всякие знаки. Но если тебе нравится, давай выпьем за меня.

— Я тебе желаю счастья.

— Спасибо. Но это не важно.

Конечно, мне бы хотелось в этот момент выглядеть поувереннее и «поблагополучнее», но даже под ее гипнозом я понимал, что все удобства и блага мира, даже войлочные тапки, без нее не существуют, и прикидываться, изображая самодовольного жуира и баловня судьбы, просто глупо. Потому что, если честно говорить, для счастья мне в жизни не хватало только ее, и было бессмысленно пытаться обманывать ее в этом, хотя бы из-за того, что мы все равно никогда не будем вместе. Ведь если хоть один человек на всем свете знает тайну другого и пускай никогда и никому не говорит о ней, то это уже все равно не тайна, поскольку они оба знают о ней, и она или соединяет их, или разделяет навсегда. А она знала мою тайну, мою любовь, муку, мое счастливое страдание. И еще она умела читать мои мысли. Она сказала:

— Мы ведь все забыли?

Я повернулся к ней всем корпусом:

— Нет! Даже ты не забыла. А я забывать не хочу и ничего не забуду. Когда я был моложе и глупее, я старался позабыть. Ты ведь не предложишь мне сейчас «остаться друзьями»?

— Стас, дорогой мой, но ведь это не может быть вечно! Тебе надо устроить как-то свою жизнь. Нельзя же до старости жить вот так и ходить ночью в ресторан есть борщ. А нам, кстати говоря, ничего не мешает быть друзьями.

— Мешает. Если между любовью и дружбой лежит расставание, значит, и не было никакой любви или разлюбили совсем и все позабыли. А я ничего не забыл и забывать не хочу. Это раз. А что касается необходимости устраивать свою жизнь, то она и так прекрасно устроена. Вот только куплю тапки, и все в порядке...

— Какие тапки? — удивилась она.

Я засмеялся:

— Есть такие замечательные тапки. Да это не важно. И давай не говорить обо всем этом. Лучше выпьем за тебя, ты расскажешь, как живешь, и все будет отлично.

Я почувствовал, что от голода, волнения и усталости начал пьянеть: это от двух-то рюмок коньяку! В зале пригасили часть огней, и ее лицо расплывалось в полумраке, текло, струилось, как на врубелевских картинах, и на мгновение мне даже показалось, что я просто задремал, дожидаясь официанта, и все приснилось — она не приходила, и весь наш разговор — это продолжение сегодняшних воспоминаний, которые вызвал Батон. Но она сидела совсем рядом, бесконечно далекая, и я не мог преодолеть это расстояние, как нельзя перепрыгнуть через пропасть в два приема.

— Тебя, наверное, очень боится жулье, — сказала она. — В тебе есть какое-то ужасное неистовство. Ты никогда не сможешь быть счастлив, потому что ты не воспринимаешь